

Рышард НЫЧ / Ryszard NYCZ

| Новые словари — старые проблемы? другие вопросы — новые ответы |

Рышард НЫЧ / Ryszard NYCZ

Польша, Краков.

Ягеллонский университет. Факультет исследований польской культуры.
Кафедра литературной антропологии и исследований культуры. Профессор, доктор наук.

Poland, Cracow.

Prof. dr hab., Department of Literary Anthropology and Cultural Studies.
Faculty of Polish Studies Uniwersytet Jagielloński, full professor.

НОВЫЕ СЛОВАРИ — СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ? ДРУГИЕ ВОПРОСЫ — НОВЫЕ ОТВЕТЫ? ★ ПОЛЬСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ДИСКУРСЫ ПАМЯТИ В ПЕРСПЕКТИВЕ НОВОЙ ГУМАНИСТИКИ

Целью статьи является определение основных условий, в которых может возникнуть пространство действительно открытых споров, переговоров, диалога, различных дискурсов памяти и формул идентичности сообществ. Во-первых, необходимо, я думаю, учитывать современный опыт человеческой временности, который стал сегодня своеобразной империей памяти. Его можно определить даже точнее, как опыт настоящего времени, как пост-прошлое. Память империи понимается как определение профиля исследования данной проблематики, однако, на мой взгляд, в этом содержится не более чем третья доля истины. Во-вторых, для того, чтобы пост-имперские исследования могли справиться со своей задачей, они должны быть тесно связаны, по крайней мере, с двумя другими направлениями — пост-колониальными и пост-зависимыми исследованиями. Создание концептуального пространства для эффективного межкультурного диалога на такую «чувствительную» тему, как национальное самосознание сообщества, выходит из болезненного опыта отношения господства и подчинения, встречи политик памяти — это еще одна важная исходная задача. В-третьих, с этой целью я выдвигаю некоторые предложения, которые направлены как раз на смещение акцентов в понимании идентичности личности и сообществ, но, похоже, они могут также успешно открыть новые горизонты для более конструктивных возможностей такого диалога.

Ключевые слова: *настоящее как пост-прошлое; пост-колониальные, пост-зависимые, пост-имперские исследования; „вне-находимость” [«эگزотопиа»]*

New Dictionaries: Old problems? Other questions: New Answers? Polish and Russian Discourses of Memory within a New Humanities Perspective

The aim of the article is to identify basic conditions for the emergence of a space of genuinely open dispute, negotiation, dialogue, various discourses of memory, and formulas of community identities. Firstly, I suppose that it is indispensable to include a contemporary experience of human temporality, which today has truly become an empire of memory itself. Below, I propose a slightly more precise delimitation: the experience of the present time as post-past. However, a memory of an empire — the second element of the congress's theme — comprehended as a determination of a research profile of the area, is in my view a third part of truth at best. Secondly, to fulfill its task, post-imperial studies have to be strictly correlated with at least two other orientations — post-colonial studies and post-dependence studies. A creation of a conceptual space for an effective intercultural dialogue about such a “sensitive” topic as self-knowledge of the national community, emerging from traumatic experiences, relations of domination and subordination, a meeting of the politics of memory — is another important introductory goal. Therefore, I propose, thirdly, some suggestions that relate to heading towards a shift of stresses in comprehending an individual identity and an identity of a community; this seems to lead to yet more auspicious views on the further constructive capabilities of this dialogue.

Key words: *the present time as post-past, post-colonial studies, post-dependence studies, post-imperial studies, exotopy*

I. Вступительное слово

Целью статьи является определение основных условий, в которых может возникнуть пространство действительно открытых споров, переговоров, диалога, различных дискурсов памяти и

формул идентичности сообществ. Во-первых, необходимо, я думаю, учитывать современный опыт человеческой временности, который стал сегодня своеобразной империей памяти. Его можно определить даже несколько точнее, как опыт настоящего-



Рышард НЫЧ / Ryszard NYCZ

| Новые словари — старые проблемы? другие вопросы — новые ответы |

го времени, как пост-прошлое. Память империи понимается как определение профиля исследования данной проблематики, однако, на мой взгляд, в этом содержится не более чем третья доля истины. Во-вторых, для того, чтобы пост-имперские исследования могли справиться со своей задачей, они должны быть тесно связаны, по крайней мере, с двумя другими направлениями — пост-колониальными и пост-зависимыми исследованиями. Создание концептуального пространства для эффективного межкультурного диалога на такую «чувствительную» тему как национальное самосознание сообщества, выходит из болезненного опыта отношения господства и подчинения, встречи политик памяти — это еще одна важная исходная задача. В-третьих, с этой целью я выдвигаю некоторые предложения, которые направлены как раз на смещение акцентов в понимании идентичности личности и сообществ, но, похоже, они могут также успешно открыть новые горизонты для более конструктивных возможностей такого диалога.

II. Время памяти: настоящее как пост-прошлое

Несмотря на то, что дискурсы памяти продолжают играть важную роль в формировании и стабилизации идентичности отдельных лиц и сообществ, их характеры меняются с течением времени — не столько чтобы вписаться в рамки конкретных исторических образований, сколько для формирования их специфики. Вполне вероятно, что с такого рода ситуацией мы сталкиваемся и сегодня, когда господствующая в эпоху современности модель опыта человеческой временности подвергается критике и переоценке, а новая — кристаллизирующаяся в последние десятилетия — все еще ищет для себя названия, хотя вполне возможно, что она скрывается в навязчивых временных определениях, в которых доминирует приставка «пост-».

С определенностью можно сказать следующее: современность оставила нас с наследием понимания человека как «незавершенного проекта» (перефразированная формула Хабермаса), погруженного в «расколдованный» мир, лишенный трансцендентной, религиозной основы, и сосредоточенный принципиально на будущем, стремящегося управлять им, предвидеть его и подчинить его своему настоящему. Сегодня же — назову три ключевые социально-философские диагноза — мы являемся свидетелями коренного преобразования и этих отношений, и человеческого опыта временности.

Энтони Гидденс утверждает, что мы живем в пост-традиционном обществе, в котором прошлое перестало быть традицией, унаследованной культурными образцами, которые организуют настоящее и моделируют мышление о будущем. Ульрих Бек констатирует, что настоящее есть постутопическое «обществе риска», которое разочаровалось в любых рационалистических взглядах на будущее (в том числе и в идеологической утопии), подчиняющем себе настоящее и закрывающем прошлое в изолированном от настоящего в сфере закрытых дел и законченных событий, к которым (знание того, что произошло на самом деле), честно говоря, ученый имеет доступ благодаря своей самоотверженной, профессиональной, чисто познавательной аналитической процедуре. Мы живем, наконец, согласно Юргену Хабермасу, в пост-светском обществе. Это, действительно, пост-светское общество, потому что

оно — хотя и светское, — все же признает легитимность существования религиозных общин в эпоху возрастающей светскости, а также потому, что оно раскрывает скрытое или затертое, но именно религиозное измерение прошлого, которое существует в самом невидимом слое настоящего, т. е. рутинных, привычных и бессознательно используемых концептуальных словарях, отношениях и практике.

Эти три наиболее известные сегодня в области гуманистики формулы и доминирующие модели современной общественной жизни упорно диагностируют дух времени как эпохи, лишенной собственного (положительного) имени. Именно поэтому она может быть определена в соответствии с приходящей на ум навязчивой номенклатурой как пост-традиционность, пост-утопичность, пост-светскость, в крайнем случае, как пост-прошлое; в соответствии с тем, из чего она выходит, чем не является, но что упорно ее преследует, что она ретроактивно упорядочивает, в неизвестно в чем находит основу, направление и смысл направленной в будущее деятельности. Хотя это разные понятия, однако, они формулируют с разных точек зрения всеобъемлющие изображения, кажется, что они скорее являются дополнительными (а не альтернативными) попытками описания связанных и взаимодополняющих измерений временного опыта.

Таким образом, представленный опыт пост-прошлого, особенности которого придают менталитету эпохи знамя исключительности и новизны, — это на самом деле опыт трех способов присутствия прошлого в настоящем: настоящего, преследуемого призраками (или привидениями) прошлого; настоящего, занятого и даже очарованного возможностью, необходимостью, опасностями, ретроактивной организацией прошлого; настоящего, которое в собственном общественном прошлом находит свое основание, являющееся столь же стабильной поддержкой в вихре быстротечности, что и основой для конструктивного действия.

III. Время пост-теории, или пост-колониальные, пост-зависимые, пост-империальные исследования

Именно такого типа опыт человеческой временности, признающий настоящее как пост-прошлое, определяет — я думаю — концептуальные рамки для различных специалистов, работающих по проблемам (часто травматическим) общественной идентичности, которые поддаются анализу тремя новыми теоретическими «словарями» с чисто пост-теоретическим характером. В отличие от стандартных теорий, они не предлагают новую, системную (иногда систематическую), концептуальную сетку, показывающую ранее скрытые составные проблематики данной дисциплины. Словари скорее напоминают популярные в последнее время методологические «фразы», если под этим модным термином рассматривать рациональную попытку определения новой теоретической ситуации. Такая ситуация рождается в эффекте «взрыва» рамок дисциплины, который провела слишком богатая и слишком сложная проблематика для того, чтобы сложившаяся ситуация позволила методам и исследовательским процедурам одной дисциплины «овладеть» собой; она стремится изменить конфигурацию новых границ дисциплины или ищет новые инструменты для разработки этой транс дисциплинированной проблематики,



Рышард НЫЧ / Ryszard NYCZ

| Новые словари — старые проблемы? другие вопросы — новые ответы |

напоминающей научные предложения так называемой новой гуманистики. И это происходит именно из-за их политических в общем плане, а на практике ревизорских и эманципационных стратегий, а также целей деятельности.

В мои планы не входит обсуждать их более подробно. Стоит, однако, подчеркнуть их отдельные генеалогии и концептуальные сетки, которые накладываются, пересекаются и проникают друг в друга в связи с общим проблемным синдромом — таким образом, который не влечет разделения между отдельными областями дисциплин.

Пост-колониальные исследования выросли, в действительности, из литературных и культурных исследований, однако, уже в книгах их «отцов-основателей» — Эдварда Саида и Франца Фанона — заметно стремление выйти за рамки этих дисциплин к общественным, историческим и политическим вопросам. В первый период — примерно два десятилетия — они развивались исключительно в границах проблематики западного мира, а точнее, на основе анализа сложных и меняющихся со временем отношений господства-подчинения между так называемым первым и третьим миром (бывшие колонии этого первого мира). Только под конец 90-х годов из-за некоторых статей, а прежде всего благодаря монографическим исследованиям американских русистов и славистов, например, Евы Томпсон Трубадуры империи. Русская литература и колониализм (изд. на английском языке вышло под заглавием *Imperial Knowledge* в 2000 г., на польском — 2002 г., на украинском — 2006 г., белорусском — 2009 г., китайском — 2009 г., на русском языке первый раздел появился в 2007 г.), — которое является «основательной» разработкой — таким образом пост-колониальная проблематика входит в так называемый второй мир (отношения между Россией, затем СССР и покоренными ими странами и соседними народами) и постепенно прокладывает себе путь в науке в качестве полноправного предмета гуманитарных исследований. Следует отметить, что в Польше, например, похожую роль «основателя» в изучении бывшей Речи Посполитой как колонизатора сыграло исследование французского историка Даниэля Бэвуа Украинский треугольник: дворянство, царизм и люди на Волыне, Подоле и Киевщине 1793–1914 (Люблин 2005).

Обсуждение этого вопроса, которое уже несколько лет ведется среди польских исследователей, к сожалению, не привело к полному консенсусу по вопросу о целесообразности использования этого термина, но привело к тому, что эта проблематика стала одной из самых важных в научных исследованиях — а это, в свою очередь, рождает первые подробные монографические работы. В целом можно сказать, что этот процесс «институционализации» пост-колониальных исследований, проходящий в Центральной и Восточной Европе, все еще продолжается на разных стадиях в разных странах. Пожалуй, самый трудный путь для «прорыва» наблюдается в исследованиях российских ученых, если можно судить преимущественно по негативным и очень эмоциональным реакциям на книгу Евы Томпсон.

Вторая ориентация — пост-зависимые исследования — берет свое начало в экономических и социологических исследованиях, а более конкретно — в изучении ситуации в Южной Америке, которая первоначально была эмпирической основой теории зависимости. Она объяснила механизмы, благодаря которым страны оставались в фазе замедленного развития, не по внутренним,

а по внешним причинам: стратегией деятельности имперских центров по отношению к периферии. Ее самую известную модель разработал Иммануил Валлерстайн, делая из нее теорию глобальных изменений в экономике и социальной структуре. В последние годы также произошла критическая переоценка теории зависимости, с одной стороны, с другой же — наблюдается ее влияние на социально-культурные и историко-политические исследования. Примером могут послужить книги Ларри Вульфа Изобретая Восточную Европу (1994) и Ричарда Вортмана Сценарии власти (2006). В этом течении содержится также анализ польского пост-зависимого дискурса, понимаемого как собирательный термин институциональной группы значимых артикуляционных практик, способных организовать человеческий опыт; проекты идентичности, социальные отношения, политические и культурные, ценностные и символические общественные воображения; формы восприятия реальности, которые были приняты после завершения ситуации зависимости, но вместе с тем, как правило, носили на себе ее следы. Результатом этой работы, сочетающей в себе пост-колониальные и пост-зависимые интенции, стали появившиеся многочисленные коллективные работы, а также две оригинальные книги авторства Ханны Госк Истории «колонизированного/ колонизатора» (2010) и Джона Сова Призрачное тело короля (2012)

Наконец — самые молодые из них — пост-имперские исследования. Они выводятся из историко-политологического анализа современности и, как было указано выше, из критики зависимых теорий. Похоже, что эта точка зрения все еще доминирует — насколько можно судить хотя бы по отзывам появившихся недавно книг Стивена Э. Хансона, Пост-имперские демократии (2010) и Дмитрия Трентина Пост-империя: евразийская история (2011). Тем не менее, они имеют свои ответвления также в других дисциплинах. В качестве примера позволю себе вспомнить вдохновляющую работу Риты Сакр Монументальное пространство в Пост-имперском романе (2012), предлагающей, с одной стороны, прочтение палимпсестового монументального пространства, насыщенного культурной памятью, идеологическими миссиями, символическими памятниками господства и насилия, с другой же — подрывной практикой эмансипационных и демократизационных действий отдельных лиц и общин в общественной сфере.

Рита Сакр не анализирует ни поистине монументальных пространств, ни российских романов. Однако о том, как познавательно благодарна может быть перспектива, выходящая из слияния памяти логических исследований, геополитики и пост-имперской литературы, убеждает нас раздел книги Империя Рышарда Капусьцинского под заглавием Храм и дворец, в котором представлено меняющиеся статус и функции Московской площади, на которой во время царизма был воздвигнут храм Христа Спасителя, а затем (решением Сталина) он был снесен, чтобы освободить место для планируемого Дворца Советов, который, однако, не удалось построить, а оставшиеся основания храма были отданы под строительство бассейна для москвичей (но все же не окончательно: в последние годы, чего уже Капусьцинский не мог уже ни увидеть, ни описать, храм был восстановлен — по-видимому, мы живем в пост-светские времена...). Вполне вероятно, что эта тема и этот тип исследований может стать предметом изучения не только российских литературоведов и



Рышард НЫЧ / Ryszard NYCZ

| Новые словари — старые проблемы? другие вопросы — новые ответы |

культурологов. Наконец, нельзя исключить тот факт, что сама Империя Капусьцинского, а также резкая критика ее со стороны русского читателя, в будущем может сыграть в области культурных пост-имперской исследований, проводимых русскими исследователями, вероятнее всего, роль основателя, и что книги названных выше других «чужих» авторов рассматривали «заброшенные» для «родных» представителей культуры темы.

IV. Время самопознания? Польша, Россия: «не-общее присутствие», «внеаходимость»

Извержение травматического прошлого, интенсивность и разнообразие конкурирующих друг с другом политик памяти, реактивации религиозных и пара-религиозных потребностей и практик в области как общественной жизни, так частных единиц, составляет новое проблемное пространство современного менталитета, которое в последнее время разрабатывают и прорабатывают пост-колониальные, пост-имперские и пост-зависимые исследования. Тем не менее, их эффективность во многом зависит от принятия общей сравнительной перспективы, противостояния дискурсов памяти, обмена опытом посредством диалога, обсуждения смысла, отношений между народами и культурами. Те, в свою очередь, и далее остаются в глубоком тупике.

Это происходит, быть может, по той причине, что существовавшие до сих пор программы познания других культур, национальных образов прошлого, образцов идентичности сообществ основывались на силе благородного искусства убеждения, аргументирующего в пользу обогащения познания ценности Другого — и поэтому, наверное, не отмечались эффективностью. Я считаю, что следует изменить направление аргументации, то есть признать, что существенной, неотъемлемой частью нашего самопознания, зрелым самосознанием, самокритичностью, как общин, так и отдельных лиц, является наш образ в глазах других и способность занять внешнюю точку зрения и противопоставить его культивируемому нами внутреннему образу нас самих. Я убежден, что только эта простая, хотя, может быть, сложная для реализации процедура может привести к развитию межкультурных отношений, встреч и диалогов, стать чем-то существенным, необходимым, лежащим в личных интересах отдельных лиц и сообществ.

Очень полезной категорией, которая может приблизить нас к этой цели, мы обязаны Михаилу Бахтину, с полной уверенностью принадлежащему к наиболее оригинальным научным исследователям литературы и культуры XX века. Речь идет о «внеаходимости» — одном из ключевых понятий бахтинского словаря. Этот трудный для перевода термин Цветан Тодоров в своей работе о Бахтине предложил заменить словом «умеждународнить» (ссылаясь на греческие источники) и называть «эгзотопией», в то время как польская переводчица Данута Улицка дала другое название — «не общее присутствие» (niewspółobecność). Этот термин Бахтин ввел в своих работах еще в 20-е годы, а затем многократно использовал, систематически расширяя сферу его применения. С технического термина, описывающего «внутри литературные» отношения между автором и героем, окончательно вырос до универсальной категории исторической культурной антропологии. Он действи-

тельно занимает в современной бахтиологии (и не только) заслуженное почетное место, что позволяет опустить анализ основных его значений.

Иными словами, речь идет здесь об идентификации «перемещенной» позиции приобретающего опыта и изучающего объекта, всегда находящегося извне — временно, пространственно, национально, культурно — ее объекта (будь это другой субъект, объект, общество, культура или он сам). И что самое важное: следует видеть в этом не столько слабость или преграду, требующую преодоления барьеров (например, путем участия или сопереживания), сколько неотъемлемую черту человека (само-) познания, условие подлинного понимания и знак инвенционности (творческого открытия).

«В том смысле, — писал Бахтин, — жизненно важным делом является «не общее присутствие» познающего (временное, пространственное, культурное) по отношению к тому, что он пытается творчески осмыслить. В конце концов, человек в действительности не может увидеть даже свою внешность или в полной мере представить ее себе. Не помогут ему в этом никакие зеркала или фотографии. Только другие люди могут запомнить и понять его настоящий внешний вид, в частности, благодаря своему пространственному «не общему присутствию», а также благодаря тому, что они другие. [...] Чужая культура возникает только в глазах другой культуры. [...] Мы ставим чужой культуре новые вопросы, какие она никогда не ставит себе, и ищем в ней ответы на них, а чужая культура дает их, открывая нам свои новые аспекты и новые слои смысла» [Ответ на вопрос редакции: «Новый Мир», ЕТW, 474]¹.

В этой интерпретации есть, можно сказать, первоначально сформулированный, но по своей сути классический, современный взгляд на значение внешней точки зрения, просмотра или конфронтации собственного образа с образом в глазах другого (начавшийся еще со «стратегии чужого» Персидских писем Монтескью). Однако, что еще более интересно (и очень редко замечалось) это то, что этот взгляд находит у Бахтина особое дополнение в действительно инновационном убеждении. Это заставляет ученого отказаться от идеи личности, а также национальной культуры, как своего рода закрытого контейнера (мнение, которому мы обязаны романтикам, в числе которых можно назвать Шеллинга и Гердеровскую концепцию культуры как шара или острова). «Что касается предмета, — утверждает Бахтин, — то «человеку не дается никакая внутренняя область независимости, он всегда находится на границе, и, углубляясь в себя, он смотрит в глаза другому или смотрит на себя глазами другого [Над новой версией книги о Достоевском, ЕТW, 444]². Похожее происходит с культурой: «Не стоит (...) представлять себе область культуры как какую-то пространственную целостность, имеющую границы, но обладающей также внутренней территорией. Области культуры не имеет внутренней территории: она вся находится на границах. Границы проходят везде, пересекая каждую ее точку [...]» [Проблема содержания, материала и формы ..., ПЛиЕ, 26]³.

¹ 1 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Москва: «Художественная литература», 1979.

² 2 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва: «Искусство», 1979.

³ Там же.



Рышард НЫЧ / Ryszard NYCZ

| Новые словари — старые проблемы? другие вопросы — новые ответы |

Следует заметить, что с этой точки зрения границы между внутренним и внешним уже не различают автономной индивидуальной идентичности или общинной целостности, а, наоборот, проходят в ее пределах. Это получает статус приграничной территории, на которой внешнее становится внутренним, а часть, считавшаяся наиболее собственной, открывает свою внешнюю генеалогию. Я думаю, что именно эта последняя бахтинская концепция идентичности — как эгзотопии, как самостоятельной дифференциации Я, как внутреннего Другого — не только предполагает признание современной критической мысли, но также должна установить общеразделяемое предположение о межкультурных диалогах. Она принуждает (в собственных интересах понимающего, эффективно критического самопознания) необходимость определения, внимания, уважения, — по отношению к Другому, тому, который находится внутри нас и вокруг нас.

V. Заключительное слово

Литература и искусство не только (или не столько) являются пассивными носителями памяти и образцами самобытности (репродукционными формами прошлого, которые сохранились в коллективной памяти), но прежде всего активными носителями памяти, фигур или проектов идентичности (активно формирующие и моделирующие ее современные формы, а также «разрешающие взять слово» до сих пор подавленным, запрещенным или маргинализированным ее компонентам). Чрезмерно рискуя, может быть, коротко замечу, что вписанные в современную литературу дискурсы памяти, главным образом, документируют состояние памяти асимметрии и даже несоизмеримости в отношениях, оценках и взаимных позициях. Они предлагают также понимание Другого в крайних категориях или в культурном отчуждении, или попытке эмпатичного взаимного понимания и чувствования, при явном присутствии бахтинской «эгзотопичной» перспективы взаимного самопознания.

Конечно, можно легко изменить данное положение вещей. Польская культурная память XX века связывает образ России, россиянина и русскости с наиболее болезненными, трагическими событиями собственной истории, а также опытами рабства, колонизации, лишением правоспособности и (отчасти компенсирующего) доминирующего господства собственной высшей культуры низшей чужой культурой. Не вдаваясь в подробности, в любом случае следует вспомнить, что этот исключительно черно-белый образ был создан и наслаивался в двадцатом веке — в общей сложности — семьдесят лет развития (или недоразвития), проходящего в условиях отсутствия независимого, суверенного государства.

В этом контексте почти символическое значение приобретает исторический факт (неважно, что он анекдотический) освобождения из-под влияния этого доминирующего отрицательного взгляда. Жил некий русский генерал (к тому же еще и

царский), которого поляки не только уважали, но и любили, а после его смерти (в 1902 году) назвали одну из площадей Варшавы его именем и поставили ему памятник (который до сих пор стоит). Конечно же, речь идет о Сократе Старынкевиче, который в конце девятнадцатого века исполнял обязанности мэра Варшавы. Благодаря ему, его инициативе, многолетним стараниям и усилиям, направленным на благо жителей города (долго защищающих себя от вмешательства в их частную жизнь, обычаи и собственность), а также благодаря царским имперским рублям Варшава была оснащена современным санитарным водоснабжением и канализацией, которые коренным образом модернизировали и цивилизовали формы организации и сам стиль жизни города. В период между двумя мировыми войнами, в конце двадцатых годов, Адольф Рудницкий, который впоследствии стал выдающимся писателем, посвятил этой Подземной Варшаве целую книгу-репортаж. В 1944 году, в конце Варшавского восстания, трагедия которого до сих пор лежит на польско-русских отношениях, именно благодаря использованию каналов генерала Старынкевича как средства коммуникации удалось спасти жизнь многим повстанцам и мирным жителям Варшавы...

Я не собираюсь придавать уж слишком символическое значение совпадениям тех событий в измерении какой-то слишком исторической иронии (или, может быть, смеха) судьбы. Тем не менее, может все-таки удастся увидеть в этом некоторые (слабые) послания, которые память прошлого выбросила на берег современности. Под поверхностью незатянутых ран, травм (как заметил Чеслав Милош, «нет никакой другой памяти, кроме памяти ран»), вращающихся политик памяти, в которых вырисовываются новые формы традиционных, этноцентрических формул идентичности, возможно, мы должны поискать «подземную» сеть каналов, обеспечивающих основы организации и нормальное функционирование общественной жизни. Дальнейшее понимание их природы и происхождения лучше всего может убедить о неустрашимом, конструктивном присутствии Другого, о творческом вкладе других культур, о ценности транснационального обмена благ цивилизации, программ или концепций. Измерение и глубину рассматриваемых здесь понятий подтверждают хотя бы выше цитированные работы зарубежных исследователей. Этот их «эгзотопичный» взгляд — взгляд Другого — сыграл и играет часто ключевую инициативную роль в анализе проблематики Центральной и Восточной Европы и самой России.

Может быть, Михаил Бахтин сказал бы, если бы польская культурная память достаточно глубоко заглянула в себя (с учетом соответствующих изменений — *mutatis mutandis* — это относится и к российской памяти ...), то к концу концов она должна была бы посмотреть в глаза широко международному обществу, заслуженным деятелям польской культуры — среди них, безусловно, также и в глаза Сократу Старынкевичу.

